

ТЕПЛЫНЬ

По утрам, если было хорошее настроение, Никита пел. Послушать, так ничего не разберешь: погуживает что-то в нос неразборчивое – ни слов, ни песни. Только сам он и знал, что поет, остальные, будь то жена или соседи, знать об этом не знали, потому что на людях он не то что петь – про погоду говорить не умел и потому всегда считал за лучшее молчать да слушать. Песню же эту он слышал давным-давно, еще от отца своего, потом забыл и вот теперь, когда годы под гору, за пятьдесят пошли, вдруг всплыла она откуда-то, пригрела сердце памятью да так и осталась – одна-единственная от отца, от всех прошлых дней...

А сегодняшний день обещал обтеплиться, погожим быть. Легкий ночной морозец будто под ноги пал: поскрипывал, похрустывал прихваченным снежком, приговаривал что-то свое к каждому человеческому шагу. Небо еще по-рассветному блекло, под застрехами сараев лежали молчаливые ночные тени. Листовое железо крыши у соседского дома взялось ровной хрупкой изморозью, та же изморозь пушила, размывала очертания молодых яблонек в палисаднике. Но уже тянуло по дворам острым весенним дымком, чиликало вовсю и топорщилось среди веток ободренное воробьиное племя, и хриповатыми грудными голосами выговаривали и все никак не могли себя выговорить голуби на фронтоне...

Никита, задав корм давно проснувшейся скотине, прибирался во дворе. Из ватника его ещё не ушло сухое печное тепло, свойский запах разогретого кирпича и золы; и он с бодрейшей и деловитостью гудел себе под нос:

Вставай, поедем за соломой,

Быки голодные ревут...

Дальше он не знал, ему и не нужно было, и он не торопясь работал вилами, сгребал в кучу объедья, оглядывал свой прибранный, ставший от этого даже каким-то уютным двор. Баба его, Ефросинья, в последние времена прибаловала и потому вил в руки не брала: дай Бог, печь истопить да приготовить чего – и на том спасибо. Да ведь и как еще сказать: домок не велик, а присесть не велит. Домашних дел не переделаешь, только устанешь... Должно, опять легла баба, рассеянно думал он, – с утра молчит, кряхтит. Врачи говорят – печень. Надо ли столько работать, войну с голодухой перенести да не заболеть. Чай, года подошли.

Он поставил вилы в угол, к лопатам и ломам, и пошел в дом, посмотреть на часы. Приближалось к половине восьмого, пора было идти на колхозный скотный двор, завозить корм на группу закрепленных за ним телят. Никита не стал тревожить жену, снял с теплой плиты

подтопка чайник, налил в кружку кипятку и, прихватив кусочек пиленого сахара, принялся сосредоточенно пить, не раздеваясь, стоя посередине задней половины пятистенки. Из передней доносились приглушенные, нарочито бодрые гаммы радиофиззарядки – та-да-да-там, там, там! «Небось кто-то и вышагивает под нее в исподнем-то, – подумал он и усмехнулся. – Для работников сидячего труда либо для бездельников. Нам ни к чему, с соломой да навозом так упреешь – загрибок мокрый... Но уторок-то какой, господи, – как раньше!..»

Знакомая, давно понятая и ожидаемая новизна, происходящая во всем – в снежке, в воробьях этих, в нем самом, – бередила, приподымала душу его, заставляла ждать лучшего. И оттого, что этого лучшего, знал он по старому опыту, скорее всего и не будет (откуда, с каких таких достатков), а он все же ждал его какой-то потаенной частью себя – сердце его пощипывало тонкой, позднего возраста грустью, сожалением о чем-то несделанном, упущенном. Он и сам не мог сказать, что он такое упустил, о чем вдруг жалеет, и эта неопределенность маяла его больше, чем какая-нибудь явная неудача, ошибка ли... Собственно, ему ведь немного надо: в хозяйстве порядок пока держится, дочки почти определены, жена... Ну, жена – с ней все понятно; такой уж человек, тут ничего не исправишь. Да он уже и привык, он уже согласился с этим давно. Бог с ней, с женой.

Тогда остаются, значит, Степанковы эти, приезжие... И тут, считай, все или почти все ясным было: не делом он занялся. Задумался. Вообще, зариться на чужое – не дело, за это в старые времена не зря руки отрубали... О чем же он в таком разе жалеет?..

Да ни о чем, наверное; дурь все, весной всегда так. Скоро вот снег таять начнет, стает, а там зелень новая, трава поперет... Покопается он в огороде, малинник разгребет, парников наделает, чтобы первыми огурцов попробовать. Сеяльщиком на посевную теперь не пойдет, хватит; надо наконец и свой огород обозреть. Порыбачит, на бережку сыром, весеннем посидит, а там, глядишь, девочки приедут на майские праздники – все хорошо будет.

Быстро, теплея с каждой минутой, поднималось солнце. Со своей Шабуней, широкой в крупе, основательной и в работе и в еде, они скоро сделали две ездки к дальним ометам. Под конец, часу в одиннадцатом, Никита даже шапку снял, и набегавший с солнечных полей мягкий снеговой ветерок тут же запустил свою студеную лапку в его свалывшиеся не Богатые волосы, легонько потормошил их и стих. Рано еще без шапки-то, сказал он себе, обожди маленько...

Он медленнее обычного управился с раздачей корма, почистил под телятами настилы, переменял им подстилку. Другие скотники уже сидели, должно быть, в дежурке и лупились в домино, а он все работал. Домой из-за какого-то часа торопиться не стоило, своих овец и корову он мог напоить и после обеда. «Зайду в дежурку, – решил он. – Передохну, а там опять с Шабуней к ометам двинем; глядишь, к часу и зашабашим. Зайду, посижу. Может, и Нюту увижу. Что ж мне, и поглядеть уже нельзя?

Можно, – успокаивал он себя, широко шагая по залитому светом солоmistому варку, – отчего же нельзя. С нее от этого не убудет; кусок, чай, не откушу и сглазить не сглажу. Мало ль кому что может... ну, приглянуться, что ли». Солнышко пригревало уже как следует; навешало, смелея от утренника, частоколы блестящих, истекающих прозрачной капелью сосулек, от нагретых стен коровников и подсобок шел зыбкий парок, свежий дух глины и навоза. Жмуря глаза, постоял Никита у саманки хомутной с соломенной, земляной от времени крышей, послушал все тех же воробьев и еще какую-то птаху, тянущую средь всеобщего гвалта несмелую, воркующую призывно песню. Глупыши! «До Алексея – с гор потоки еще недели две, намерзнется. Хотя весна ранней обещает быть; на сретенье, в середине февраля, тепло было, в лужах не то что курочка – бык напьется... Поздняя – хлебу, зато ранняя – сердцу, нам все сгодится».

В дежурке, примыкавшей к каменному коровнику, было не продохнуть от дыму. Щелкали костяшки домино, реяли над дощатым столом возгласы, азартный смешок, матерки. Вместе с мужиками сидел, повернувшись боком к столу, Николай Степанков, держал в сжатых кривившихся губах папиросу и, щурясь от дыма, приценивая поглядывал на доминошную «глисту» и к себе в черную от машинной грязи, грубую, как подошва, ладонь, где вместе с другими была зажата роковая для соперников пустушка. В углу гремела флягами Райка Бордовых, она соседствовала со Степанковыми, ворчала что-то, а потом, проходя мимо, замахнулась скомканным полотенцем на мужиков:

– У-у, ироды!.. Натабачили – хоть топор вешай. Лодыри царя небесного.

Николай, не обращая на нее внимания, выставил пятерочный дупль, саркастически сказал:

– Ну, сейчас я вам покажу кошачью морду. Небось насидитесь у меня под столом, коровьи ухажеры...

– Ишь ты... Гляди, сам не досидись до четвертной, милок, погодь! Мы тут всяких видали да бивали. – Мужик напротив раздумчиво, не отрывая глаз от костяшек, покачал головой. – Бивали и все удивлялись: откеда с таким говором приезжают?!

– Откуда сами, оттудова и сани, – посмеивался Степанков. – Разевай рот шире, лови адмиральского. – И, оборачиваясь к Никите, сказал: – Вот, смотри, как я их сейчас... будете знать вязовских. А то вы тут уже и шариками не ворочаете, разучились.

На подначки Степанкова не обращали особого внимания, привыкли уже. Никита молча прошел к окну, присел на лавку. Стали подходить доярки; разматывали зимние шаленки, раздевались, натягивали серые рабочие халаты. Нюты среди них не было, и он, глянув на вешалку, нашел ее стеганку и бурую от старости кашемировую шаль – пришла уже.

Он вздохнул и, отвернувшись, заглянул игрокам через плечи. Обстановка там в самом деле накалялась, Степанков играл наверняка. Дверь в который раз распахнулась, вошла, оборачиваясь и что-то говоря назад, Райка, и за ней увидел он Анну.

Простоватое, светлое от природы, лицо ее улыбалось, и глаза тоже улыбались, ласково и чуть стесненно щурились. Прядка не по-деревенски чистого русого цвета волос падала на лоб, чуть притеняла глаза, и оттого серели они девически темно, радостно... Никита кашлянул в кулак, уставился в чужие костяшки. Чисто девка раскраснелась, вот возьми ты. Говорят, из сирот взятая, всю нужду видела, а вот возьми ты...

Анна, несмело посмеиваясь, оглядела дежурку: «Батюшки, дым-то какой – прямо коромыслом...» – подошла к ним. Постояла, посмотрела, как думают мужики над задачей Николая, спросила мужа озабоченно, с мнимой кротостью:

– Не засиделся, милок? Хватит бы штаны протирать, скотина дома не поена...

– Счас, Нюр, погоди... Я им еще от вязовских привета не передал.

– Заладил: вязовские, от вязовских... Пора бы уж забыть. Мелешь не знаю что, людям надоедаешь, – с сердитостью сказала она, поправила ему завернувшийся воротник поношенного бобрикового пальто, ровно подштопанного на локтях, легонько подтолкнула на нос шапку. – Герой ты мой... горяшко.

И, вспомнив, полезла к нему в карман, опершись на плечо его и близко наклонившись, сокрушаясь заранее:

– Опять небось головку к примусу забыл купить. И сколько говорить надо, чтоб в магазин зашел!..

– Ну-ну, – пробурчал Степанков, не отрывая взгляда от стола и, видно, стесняясь мужиков, поднял локоть, безропотно давая обшарить карманы. – Дался тебе этот примус. Да не здесь, в правом ищи... Что, довольна теперь?

– Довольна, – сказала она, положила сверток назад в карман, в ненужной и, казалось, неумелой озабоченности хмуря светленькие брови. – Вот придешь домой, и прикрути.

– И прикручу.

– И прикрути.

Никита отвел глаза, засобирався. В узеньком коридорчике наткнулся на Райку и уже было мимо прошел, как она вдруг неожиданно прыснула и, схватив его за рукав, зашептала, сдерживая смех и оглядываясь:

– Ну, как оно, касатик, свербит? Небось завидки забрали, а?

– Да... ты што?! – Никита растерялся, выдернул руку из ее цепких пальцев и тоже, сам того не желая, оглянулся. – Ты што это...

– Не-ет, касатик, меня не омманешь... А правда, хороша бабенка, а? – Она хохотнула, прикрыла рот концом платка, игриво-намекаяюще повела бровью на дверь дежурки. – Может, записочку али еще чего... я могу. Чево уж ты славы людской так боишься, Микитушка. Слава что сладость, пососал – и нет ее. А любовь добрая – она ввек не забудется...

Никита, не зная толком, что отвечать ей, дуре набитой, смотрел на нее зло и растерянн и потом сказал:

– Ты, Райк, прямо как маленькая... Ну что выдумываешь, людей булгачишь?.. Ить тебе уж все сроки прошли, а ты все взбрыкиваешь. Угомонись маненько, вот что!

– Неидет угомон, касатик, никак неидет, – странно и медленно усмехаясь, сказала Райка и с неведомо откуда взявшимся интересом все разглядывала его, будто примерялась. – Мужик ты в теле, плечишши под три мешка, а телок телком... А я вот так не могу, мне все бы ха-ханьки...

– Касатик, хаханьки... Тьфу! – возбужденно, в сердцах сплюнул он и вдруг попросил: – Не надо, Рай, ей-Богу... что понапрасну-то?! – И решился, будто в зябкую воду ступил, на слышанную где-то шутку: – Я, можа, только тебя одну и люблю...

– Ой ли... Ну, ладно-ть, ладно-ть... Иди. Да не зырься, как на икону, побереги людям языки-то.

Господи, вот язва-то еще нашлась, навязалась, – с растерянностью и еще чем-то, похожим на испуг, думал он, торопливо уходя от коровника. – Вот пройда-то... Надует людям в уши, как им в глаза после этого смотреть?.. А дочки? Стыд-то какой, господи...

И, вспомнив их, ожесточился: хорош отец, нечего сказать... Дурак старый. Под шапкой сивость одна осталась, дочерям приданое собрано – а туда же, на чужую бабу смотреть... Нет, так дале не пойдет, надо кончать, пока не поздно.

И ведь дурь же, дурь, – истово соглашался он с самим собой, – дурь гольная! Зачем это тебе, не пойму. Ладно бы парнем был, а то ведь ну никакого смыслу. Что дочери-то твои людям тогда скажут, ты подумал?.. Видно, так вот человек и решается ума: все думает о чем-нибудь одном, а про другое забывает; глядишь – и уже ненормальный он, спятил. А он просто думает

про одно и то же, никак с этого места сойти не может... Оглядывайся, друг, почаще, про другое не забывай! Иначе такое наворотишь себе на горе, людям на потеху – что не расхлебашь потом... Да и как она дознаться могла, язва?!

Нет, не скажет Раиса, – уже трезво стал думать он. Не должна вроде бы. Да и так она это... чтоб меня подзудить. Поймала, как маленького. Его уже досада брала за свой испуг: так бывает, когда мелкая шавочка, подобрившись, брехнет – и вздрогнешь весь, больше от неожиданности, чем от опаски; и досада возьмет, как увидишь собачонку... Ну, а что кончать надо – это он понял. Всему свой срок; и заглядываться, думать о чем-нибудь таком – пустое дело, все равно что весной озимые сеять: зерна не будет, одна трава...

Ведь уже до того дошел, что за себя самого стыд разбирает, додумывал он, погоняя Шабуню, остывая понемногу. Черт знает, это за натура такая: вечно что-нибудь втемяшится... Пора бы поумнеть.

Шел домой Никита своим огородом, стежкой, натопанной за зиму до выпуклости. Слюдяно, сплошными полями, блестел наст, ветерок стих, и над крышами села от дальних посеревших колков до пустынно-белой зимней реки и плоскогорий за нею в светлой кисейной наволочи сонно расплылось, притихло и будто остановилось солнце – покой, белизна, немартовская теплынь. Никита расстегнул ватник, сбавил шаг.

Он как-то скоро отошел душой, и на Райку уже так не досадовал – что с нее взять, с вдовы соломенной; ей теперь только и осталось забавы, что на других смотреть... Удивительным было даже, что наперекор всем волнениям, стыду и раскаянию, испытанным недавно, он не ощущал в себе той похмельной мути от неверно содеянного, которая долго в таких случаях не оседала потом, не давала покоя душе. Будто ничего и не случилось, и та, утренняя, благодать не покидала ни его, ни окружающее, предвесеннее... И если и осталось что от происшедшего, то самая малость, легкое неудобство пополам с приятно тревожащим, теплым, обещающим какую-то надежду и радости впереди – как перед большим праздником, не занятым работой... От этого легко, странно было ему, немного стыдно даже; и он начинал понимать, что все это – Райка, ее сочувствие, хоть мнимая и насмешливая, но готовность помочь ему. Черт баба, думал он неловко, с невольной благодарностью; надо же удумать такое – записочку!.. И бабенка-то – пуд с косырем, глядеть не на что, а все вот ей хоть бы хны... Куда как легче таким живется.

Не скажет она. Если подумать, тут и говорить-то не о чем. В другой раз и этого не будет, хватит. Не для того век свой жил, чтобы позориться под старость.

Не для того, это верно. Ну, а вообще, для чего?..

Думал он, и не раз. Правда, сбивало его почему-то все время: думал не столько о том, для чего жил, а как прожил. Да и не было между этим, чувствовал он, такой уж большой разницы; есть же приговорка такая – как жил, так и умер... А о том, для чего человек живет, вообще мало кто знает – разве что ученые какие; нечего тут и задумываться.

Вот и еще подумай – как? Тут всегда найдется, что вспомнить. С человеком за жизнь, оказывается, столько всякого случается, что только начни ворошить, – и сам удивишься, как много позабыл. Но главное – то пока держится: кое-что из ребячества, служба, немногие поездки. Потом гулянки вспоминаются, дети свои, люди там и всякие другие случаи... И работа.

Да, работа... Так вот вышло все же, что кроме нее – легкой ли, трудной, но всегда нужной, от которой не отвертеться, которая все силы твои берет, он ничего порядком, считай, и не видел. Везде работа, куда ни оглянись. В молодости, правда, она его не так тяготила, силы, слава Богу, хватало; и сейчас он еще в ладу с ней живет, привык давно; но кто сказал, что она ему так вот уж и нравится, вся эта целодневная канитель и в колхозе, и дома?.. Спору нет, хорошо утречком выйти и косой по росе помахать. Или дровец поколоть, к каждому чурбачку со своим подходом –

такой работой он готов хоть всю жизнь заниматься. Ну еще найдется таких дел с пяток, а остальное? В грязи, в пыли, без передышку всю жизнь, кому и как любить такую вот работу, которой куда как больше, чем приятной?.. Что ни говори, а ведь так он и прожил все свои годы, и все соседи его не лучше, а разве так он хотел бы прожить? Нет.

Другого он не видел, и, может быть, поэтому трудно ему было теперь оглянуться и оценить свою жизнь как-то иначе, иными глазами посмотреть на нее.

С приехавшим на каникулы соседским Володей, студентом, два дня пасли они однажды стадо единоличных коров (у Никиты в нем корова с телочкой ходили); и студент этот буднично рассказывал, объяснял ему городскую жизнь. Ничего там особенного вроде и не было, в городской жизни, хотя и много легче она. Потом они вместе с коровами отдыхали на стойле, у реки, Володя уже похрапывал, закрыв лицо фуражкой, а он все не мог уснуть, думал над его словами. Он сравнивал, завидовал многому, даже пытался рассчитать, что бы вышло, если бы работал он только на себя, в единоличном, положим, хозяйстве на пяти гектарах, с лошастью или даже с небольшим тракторишком. Еще он подумал о том, что надо будет сделать ему в это лето, а потом вспомнил, как мечтал он, лет двадцать назад, купить себе мотоцикл с коляской и проехаться на зависть всему селу с молодой женой к магазину... Мотоцикл он бы и сейчас не против занять, но поди попробуй, когда у тебя две девки на выданье. Рублей по триста, не менее, каждой на приданое надо, да постели, тряпки всякие – глядишь, еще в соседи придется идти и ту же телку не миновать продавать. Не до жиру тут... А еще ведь хотел, помнится, на море съездить, дельфинов посмотреть – читал он тогда одну занятную книжонку о море, очень она ему нравилась...

Девочек выдай, тогда и думай о мотоцикле, усмехнулся он себе. К морю тебе теперь не ехать. А там и жене надо бы хоть какое ни есть пальтишко справить, сколько же ей можно в фуфайке-то ходить... Так вот оно и есть: всю жизнь горбила, а как была в фуфайке, так и осталась...

Он подумал так и вдруг, будто со стороны, с высоты какой, глянул на себя, на прожитое, и неприятно поразился открывшимся перед ним видением его собственной жизни, бесконечной суете, мизерности сделанного – хотя он тридцать пять лет только и делал, что работал... Он удивился, растерялся от того резкого и беспощадного света прозрения, который все же нашел его среди скопища земного, обыденного, а мог бы и вовсе не найти; и поспешно, панически отступился. И хотя этот свет не успел ожечь ему душу, не сделал из него, как это нередко бывает в таких случаях, непонятного всем чудака, но смутил и теперь уже не забывался, не покидал его никогда...

Да ладно, говорил он себе, что уж тут мерить: не ты один – все кругом так жили. Мерь не мерь, а этого не вернешь, в суд не подашь. Ведь, если подумать, и радости были. Какая есть жизнь, а без радостей не обходится. Нищий, и тот найдет на дороге целковый – и рад до смерти; а я нищим не был, кусок хлеба всегда имел, и нечего, как мать говорит, Бога гневить... Да взять хотя бы и работу, любую: кончишь ее – и доволен, что сделал, с плеч скинул. Нет, тут все от человека зависит, от того, как он сам это дело повернет, как посмотрит.

Давно уже и понемногу начал он понимать, что радость дается не столько от жизни, сколько ее в самом человеке имеется: надо только хотеть, уметь радоваться... Никто не учил его этому, никогда он такого и не слышал; и потому думал иной раз, что или это все его выдумка, ерунда, или в самом деле люди не знают ничего об этом, живут как придется и порой не видят ее, не умеют видеть в своей жизни... Так вот верил и не верил он этому своему пониманию, жил и особо не искал всяких радостей – они его сами находили, и он принимал их как должное и нужное... Вот как сейчас. Идет он по стежке этой, среди теплыни, и каждый стебелек подсолнечный, прошлогодний, каждую былку и соломинку на снегу видит: и что весна вот-вот, тоже знает, вон какие колки серые, светлые – и радуется, и ничего ему пока больше не надо... А

наутро еще что-нибудь узнает, приметит вдруг – хорошее, тонкое, для души, или дочек своих повспоминает, какие они... Вот так и живи, собирай всякую хорошую разность, мелочишку про запас – на черный день, на ласковую память.

И если вот так посмотреть и на работу, и на радости, которые выпали ему, то никак не хуже других он прожил. Не горел, не вдовел, перед людьми не краснел – это главное. Ну, а то, что в семье у него такое вот неудобие вышло – в этом никто не виноват. Он и сам не сразу уразумел, к чему все идет, а когда спохватился, то что ж... вдогонячку дела хорошо не сделаешь.

Ему не пришлось воевать, страсти всякие видеть – с возрастом повезло. Отслужил уже помирному; по приходу, как водится, походил сзади сверстников за гармошкой, погуляв немного, а потом отец без лишних слов посадил его в тарантас и повез на соседнюю улицу сватать Фросю, которую Никита и на вечерах-то видел раза два, не боле. Тут же сговорились, распили пару бутылок и, забрав утиральники, покатили в добром расположении домой.

Он принял Фросю спокойно, как все вокруг себя принимал; сначала, правда, маленько стеснялся, угрюмился, потом привык. Жена оказалась тоже не из разговорчивых, на работу цепкая, даже ярая. Вскоре они, надрывая молодые животы, поставили себе саманный дом, отделились – с этого и началась их семья.

Из того начального времени мало хорошего он помнил – разве это появление и нежное детство дочек своих, Тани, потом Маши. Ежегодными трудами росло, прибавлялось хозяйство – только успевай поворачиваться, а все остальное отнимала суета жизни. Наспех собрали другой дом, теперь деревянный, несколько лет карабкались из долгов. Меняли и покупали коров (не везло им, неудойные попадались), пестовали телят, из-за нехватки покосов потайно, ночами, дергали и сушили на сено сорняк с колхозных бахчей... Ефросинья за всякие долги всей родне, бывало, кизяки переделает, все сараи умажет, короста с пальцев круглый год не сходила. Он тоже всю горбит, по два-три трудодня на день выколачивает; а вечером сойдутся дома, всухомятку перекусят, и лишь бы до подушки добраться – утром в четыре вставать...

Если с другими сравнить, так они быстро свое хозяйство на ноги поставили. Дальше малость легче пошло, и Ефросинье только бы и радоваться такому мужику: работящ, в стакан но заглядывает, что коса ему, что рубанок – все как вlepлено в руки, все в дело пустит и до конца доведет... И первое время куда как гордилась, на нечастых сельских гулянках сидели они вдвоем ладные, трезвые и чистые, только чуть покрасневшиеся от стаканчика-другого, а товарки ее уже унимали, утирали и разводили на покой своих «колобродов»... И обиходовала его не хуже других, помогала, тянулась изо всех сил, успевая и дома, и в колхозе, и на огороде.

Но ко всему, наверное, привыкают люди, и привычное уже куда меньше ценят. С рождением девочек забот у них против прежнего вдвое прибавилось. Ефросинью только и хватало теперь, что по домашности управиться, а он день-деньской пропадал в поле, на скотных дворах – зарабатывал на жизнь. Спору нет, не у них одних так было – и успевали, и жили люди по-прежнему дружно, одним; но, видно, быстро сломила Ефросинью такая вот, в нехватках и постоянных заботах о куске хлеба, жизнь. И так не из ласковых, не по годам жесткая и умеющая все поставить по-своему, она скоро совсем погрубела сердцем и к нему, и ко всему, что не касалось девочек ее и хозяйства. В девчатах души не чаяла, около них только и отходила, мягчала, это был отраднй уголок ее жизни; и он мало-помалу чувствовал, что остается один.

Это сейчас Никита все видел и понимал, как такое могло получиться, а тогда это постепенно подходило, исподволь. К тому, что жена уже не давала себе труда церемониться с ним, он привык. Бывало, что она вдруг ни с того ни с сего накидывалась из-за какой-нибудь мелочи на него, ругалась коротко и хозяйски грубо – будто батрака отчитывала. В первый раз он так удивился, что и ответить порядком не смог, но уже в следующий притворил дверь передней, где играли девчата, и сказал ей тихо: «Ты што, туды-т твою... Бога за бороду взяла, да?! Чтоб я

этого больше не слышал». Жена угрюмо промолчала и потом уже реже ругалась, выбирала место и время, но пренебрежение ее он чувствовал все время и ничего с этим поделать не мог.

Хуже было, что и девочки понемногу стали дичиться, стесняться его. Особенно заметным это сделалось, когда он целых три сезона пас единоличных овец. Никита решился на это, чтобы хоть как-то расплатиться за построенный дом и поправить свои дела. Так уж повелось, что пасти скотину нанимались обычно какие-нибудь неудачники или бобыли, у которых в хозяйстве горшок не на что повесить. Но платило «общество» неплохо, и он, подумав, согласился. Проводил в степи весну, лето и осень, приходил домой поздно, уставший и оттого хмурый. Ефросинья, понятно, тоже набегается за день, молча щец летних, пустых нальет да ложку вытрет и подаст, пока он хлеб режет, и, подоив корову и сходяв к соседям да сепаратор, поскорее к дочкам, укладывать их на ночь и самой отдыхать. Он долго ужинал один, потом тихо входил в переднюю комнату. Посапывала, разметавшись на стареньком, загороженном стульями диване Танюшка, жена устало прихрапывала, забыв руку на поводке люльки, и внятно, сторожко тикали в тишине ходики – семья спала.

Иногда он, если заставал старшую дочку не спящей, вынимал из брезентовой своей сумки оставленный кусочек заветревшего хлеба и давал ей: «На, лиса с лисенятами тебе дала. Бери, бери – лиса добрая...» Дочка брала его загорелыми, в цыпках, ручонками, несмело разглядывала и, не поднимая глаз, лепетала наученное мамкой «спасибо». Никите неловко от этого становилось, он понимал, что как-то надо приласкать, приветить дочь, чтоб не так она дичилась отца своего, но не знал как, с детства не привыкший к этому был. Садился на корточки, притягивал ее, под каким-то неодобрительным и одновременно торжествующим взглядом жены, к себе и говорит неуверенно: «Ну ты што, доча... аль боишься, стесняешься отца свово?» И Танюша, чувствуя эту неуверенность, скованность отца и еще молчание матери, собирающей на стол, молча и тихонько противилась его рукам... А чаще приносил увядшие пучочки набранной в степных лугах и распадках плоскогорий земляники, казачков или щавеля и подкладывал рядышком, чтобы проснулась дочка утром, когда он уже далеко в степи будет, и порадовалась лисичкиным гостинцам. Отвыкали за лето дочки от него, все с матерью да с матерью, он немного тревожился, но успокаивал себя: ничего, зимой все поправится.

И правда, зимой все, плохо ли, хорошо, а налаживалось. Может, и не с таким общим уютом и теплом, какое он видел в других семьях, но налаживалось. А потом снова лысели плоскогорья за рекой, под ярким солнышком полянами вытаивала степь; и после очередного договора с обществом он выгонял стадо на пажить, на вышедшие из-под снега ковыльные склоны балок – не то, чтобы накормить овец, а хоть прогулять пока, дать им отдых от извечной зимней соломы. Девочки выросли, уже и не было в них, особенно в Маше, той робости перед отцом, но и большой привязанности не виделось.

Так год от года стал он от семьи своей как бы немного обочь, в стороне. Был тем, чем прежде всего должен быть мужчина, – добытчиком, кормильцем; и казалось иной раз, что жена, да и девчата тоже, слишком уж видят и знают в нем добытчика и мало придают внимания всему другому. Он приносил деньги, хлеб привозил, растил, забивал и продавал скотину и многое другое, нужное для семьи делал, а все остальное было бабьим делом, все как-то мимо проходило – эти всякие тряпки, вещи, разные домашние праздники и хлопоты, чем без совета и спроса управляла баба... Сначала, когда девчата только в школу пошли, он и сам не считал нужным с ними возиться, да и не до того было, а потом уже и не пытался. Его постоянная молчаливость, неприметность в доме стали привычной и жене и дочерям, что во всем прикипели к матери, и ему самому. И Никита жалел порою, что нет у них сына. Уж с ним-то он всегда бы договорился; было б кого научить топор или вилы в руках держать, рыбачить или еще что там... Но нет, Ефросинья, видно, и семя ею пересиливала – даже третий, умерший, ребенок девочкой был. И молчанье хоть и не росло, не копилось, однако оставалось молчанием, укоренилось во всем, он

постоянно чувствовал это, старался не обижаться поначалу, но на душе всегда висела тень, несущественная вроде бы, но тягость.

Ефросинья, несмотря на такую единственную свою приверженность к дочерям, воспитывала их в необходимой строгости. Он и сам удивлялся и прямо-таки любовался порой, глядя, какие они рукодельные да приветные растут, как осинки светлоголовые друг за дружкой тянутся – что дома посмотреть, что на люди вывести... Замечал, как, взрослея, стала приглядываться к нему Таня, видно, уже начала понимать супружескую черствость матери, несправедливость в семье и понемногу раскрывалась к отцу, внимательней становилась. Однажды, находясь вечером во дворе, слышал он, как в сенях мать говорила Танюше: «Ты что это – стираться взялась? Мы ж вчера постирались». – «Да я так... мелочь. Платочек да носки отцовы». – «Нечего, и так хорош! Каждый день ему еще стирать. Вон лучше урюк иди поешь, в магазине час, поди, стояла». – «Да они ж смоляные, со скирдовки-то! И смены, сколько ни рылась в шифоньере, не нашла». – «Нет смены, – равнодушно согласилась баба. – Не напасешься. Да ему все равно, из грязи-то в грязь... Стирай, если хошь».

Шло время, росли дочери. Уже бегали в клуб, на большие праздники вместе с подругами и одноклассниками устраивали тайком от учителей гулянки с баяном; а раз на полевом стане услышал он из разговора баб, всегда все знающих, что будто один из хуторских, что в интернате живут, уже сохнет по Татьяне. И в какие-то минуты накатывало беспокойство на него, защемляло сердце, и он все думал с потаенным страхом: что-то будет, какая судьба, то есть мужья им выйдут, – бабья-то доля, если раздумать, от мужика...

Уехала, поступив в сельскохозяйственный техникум, старшая дочь, за ней через год и Маша, и они остались в большом доме одни. Жизнь сразу будто опустела, и немилым стало теперь все нажитое благополучие, покойное существование с умеренной привычной работой, к чему они так долго стремились, – попробуй вот угоди человеку... Отдушины себе искали; жена взялась за вязание, а Никита пристрастился к саду: завел еще пару яблонек, смородину и густой, в человеческий рост, малинник и каждую свободную минуту пропадал там. В зимние вечера он либо оккупировал заднюю половину дома и, увлекаясь, до часу, до двух ночи катал валенки семье и всей многочисленной родне, либо молча надевал шапку и как есть, в простеньком пиджачке, руки в карманах, шел по морозцу через десяток дворов к Райке Бордовых, где чуть не каждый вечер собиралась на посиделки «молодежь старше тридцати». Там, в просторной, Бог знает какими силами поставленной избе, азартно дулись в «очко» мужики, гомонили, перебирали новости бабы, грызли семечки, свешивая шелуху с губ аж; до передников, в который раз дивя этим мужскую половину собрания. Никита подсаживался к столу, смотрел молча (сам он не играл) и только хмыкал иногда, одобряя или нет. Мужики это хмыканье очень ценили, но от приглашения сыграть он отказывался – не находил особого интереса, просто наблюдал.

Оставшись без дочерей, Ефросинья затосковала. Часто и, главное дело, молча раздражалась по пустякам, и оттого Никите становилось куда тяжелее, чем если бы она под старость стала ругливой. Потом он уже и на посиделки реже стал заглядывать, чтоб не оставлять жену наедине с разросшимся от пустоты домом, с этими глянцевыми полами, столбчатыми высокими часами и просторным зеркалом... Опять, скрипя расшатанным столом, катал валенки, ладил всякую мелочь, часами плел сетку для большого сачка, какими обычно мужики и молодежь ловят рыбу по весне в мутной полной воде; а Ефросинья вязала уехавшим дочерям носки, пуховые варежки, и, устав от не меренных никем бабьих дел и дум, ложилась часов в девять, долго и не по-сонному дышала за занавеской, без вздохов и зевков.

«Хоть бы пожалилась баба, – раздражался и он. – Сопит молчком, а что сопит – неизвестно. Я, что ли, виноват ей, что Танюшка с Маней уехали. Уже и с лица спала, извелась, а молчит. Что бы ей не подойти, не сказать по-доброму... Нет, не подойдет и сама не подпустит. Характерец у бабы!...»

Сам он все же легче переносил и разлуку, и одиночество; и жалко становилось жене. Он уже и пробовал было заводить разговор, тянуло повспоминать о дочках, но Ефросинья отделивалась короткими незначащими словами, после которых и говорить-то становилось не о чем. Не пускала к себе, к дочерям, даже по ночам молчком обходилось, и что тут надо было делать – он не знал.

Не так уж и часто писали девчата, и однажды ему случилось встретить почтальоншу у самой калитки. Почтальонша порылась в своей пузатой сумке и, ничего не говоря, протянула вместе с районной газетой письмо дочерей – пухлое от фотографий. Никита не стал вскрывать конверт, а понес его жене, зная, как она сама любит делать это. Он подал ей конверт и сказал, смущенно и радостно улыбаясь:

– Ну, вот... Бери, мать, читать будем..,

Он хотел еще сказать, что и сам уже заждался – дальше некуда, и что надо бы ему взять поближе к выходному пару деньков да хоть раз съездить к девкам в город, продукты подкинуть да проведать, на житье их глянуть – как они там, на частной квартире, не бедствуют ли чем и что у них за хозяйка такая, что ни свет без разрешения не включи, не свари, платочек не постирай... Но жена, не глядя даже на него, выдернула конверт и торопливо ушла в переднюю, забыв о нем, словно его и не было, оставив у порога в настывших, литой резины, грязных сапогах... Ему неловко стало и обидно, очень уж хотелось взглянуть на девчат, какие они теперешние, городские. Он вышел на слякоть, к скотине, долго убирал там, потом снова зашел в кухню за помоями, ожидая, что вот она выйдет, дочек покажет.

Но жена так и не вышла к нему, не позвала; и сквозь полупрозрачное стекло, заменяющее филенку двери, видел Никита, как она разглядывала что-то на свет, будто сверяясь, а потом полезла в сундук. Задетый за сердце, потоптался он в прихожей, испытывая болезненное желание видеть детей своих; но что то горькое и гордое не давало ему снять сапоги и пройти в комнату, где копалась в нафталинном нутре сундука его жена, перекладывая и считая одеяла, отрезы и всякую бабью справу...

Он наотмашь – в первый раз, наверное – бухнул дверью, вышел на улицу, гомонившую гусьями и полную снежного света. Постоял под окнами своего дома, не зная, куда податься, где приют найти. По старой памяти к матери пришел; до вечера возился под сараем, ладил двери, чистил накопившийся у коровенки в хлеву навоз; и донельзя обидно было, что вот он растил детей, горбил как мог, чтобы его дочери нужды большой не знали, и любил он их, может, не меньше матери, а теперь ненужным стал – будто он и не отец им вовсе, будто не думает он долгими одинокими вечерами, не боится за них, девок своих, когда в этом городе охальников да кобелей, хулиганов всяких полно... Да какая же она жадная до всего, Бог ты мой, что даже и к детям нашим не допускает! Весь век все в дом тащила, все ей мало было, а теперь вот и дочерей...

Он и матери своей ничего не сказал – что старуху расстраивать; а наутро, ни слова не говоря, засобиравшись в город: изрубил в сених половину бараньей тушки, уложил все в потрепанный, оставшийся от девочек рюкзак, добавил еще сала, десятка два яиц. Ефросинья, что-то поняв, не сказала поперек ни слова, хотя сама намеревалась в скором времени ехать туда; даже помогла и проводила без напутствий, молча.

В город Никита доехал к вечеру. В непривычной троллейбусной давке добрался наконец до улицы, долго, с расспросами искал нужный номер – как-то запутаны они были здесь, сразу не разберешь. Девочки жили в полуподвале осевшего набок, небольшого дома вместе с угрюмой, с чего-то озлобившейся на весь белый свет старухой. Согнувшись, он несмело постучал в низкую погребную дверь раз, потом другой, внизу брякнул крючок, послышался суровый голос: «Кто?.. Кому надо?..» Никита назвал, и пока недовольно гремел засов и что-то отодвигалось там,

тоскливо оглядывал присыпанный угольной крошкой двор с чахлой порослью посередине, с какими-то сарайчиками и крышами, крышами...

Старуха, отстранясь и даже не поздоровавшись путем, пропустила его; он ощупью, волнуясь и про себя каясь, что не поехал сам и не устроил девчат получше, нашарил дверную ручку, потянул на себя. Войдя в прихожую, он уже начал было скидывать рюкзак, неудобно оттягивающий назад плечи, когда из-за перегородки выглянула Маня, широко открыла глаза и кинулась к отцу, к папане, прижалась к нему, в непривычной ласке обхватила его шею руками, плача, смеясь и выкрикивая что-то. Она его целовала, а он, так и не сняв до конца рюкзак, путаясь в его ремнях и что-то бормоча, отводил небритое в утренней спешке лицо и сам чуть не плакал.

Потом они ждали Татьяну и волновались за нее вместе, потому что часы показывали уже восемь, а район этот, прозванный Шабровкой, был беспокойным. Пришла Танюшка, торопливо скинула у порога ботики, прильнула к нему и все не хотела отрывать от его плеча лица. До сих пор он помнит сладковато-пряный запах девичьего пота и духов.

Это было прошлой весной. Они приезжали потом на праздники, на каникулы, и теперь он уже всегда знал, что о нем не забывают в мелкой суете, и чувствовал на себе их внимание, иногда даже предупредительное. Нет, они и раньше были хорошими дочерьми – послушными, без лени, какую нередко видишь в соседях, а сейчас только поняли, что такое отец и каково без него жить... Ну и хорошо, что поняли. И оттого он их еще больше, казалось, любил: в дни их приездов даже с лица менялся, суетливее становился, улыбчивее и растерянней. Вел показывать свои яблоньки и малину, с особой охотой таскал воду на постирушки и смотрел с ними телевизор. И разговоров сколько стало – о городе, учебе, даже об их сельском хозяйстве.

Ефросинья внешне никак не отнеслась к этим переменам, будто и не видела ничего. И только потом стал он замечать в ней некую подозрительность, которой раньше не было, – да и что тогда было, кроме равнодушия... Похоже, что жена ревновала его к дочкам; и он, когда вдруг подумал об этом, понял, что так оно и есть – ревнует. Подсадовал: глупить начала баба к старости... Нет, что ни говори, а избаловал он жену: пожила бы она с каким-нибудь забулдыгой, хватила лиха – небось по-другому запела бы, не только рядом – через всю улицу узнавала бы мужа. Да и когда, в какие времена было, чтоб муж бабе угодил во всем?! Она, вишь ли, мать – а я по ей кто, горячил он себя, седьмая вода на киселе?..

Как так можно, чтоб я дочкины письма на втором или третьем дню читал! Я им отец родной, у меня тоже свой интерес. Кого хочешь люби, но и другим не засти, говорил он мысленно жене, и в правоте своей был уверен и тверд. Но как ей скажешь об этом вслух? Не поймет, посмотрит как на дурака. В природе и слов-то, поди, нет таких...

Степанковы появились на их улице недавно. Они переехали сюда из самого глухого куста района, из Вязовки, купили дом и вот уже полгода как обживались в этих местах. Николай получил гусеничный трактор, заработал сразу дельно, ухватисто: и уже скоро покрикивал на нерадивых помощников, язвил и подсмеивался на каждом шагу, но как-то свойски, не обидно, и приняли его все на удивление быстро.

Жену его Никита встретил только через недели две после приезда: шел рекой с покоса и вдруг увидел, как у бабы, полоскавшей на мостку стираное белье, уплывает, воровато утягиваясь на быстрину, что-то темное из вещей. Он уже собрался было крикнуть ей, но тут она сама заметила, охнула и, подобрав юбку, полезла в воду. Однако штаны (теперь он ясно видел их) занесло в глубину, и женщина выбралась на берег, пошла по течению, поглядывая на середину реки, смеясь и не на шутку уже досадуя. Никита быстро сбежал под круть, на галечную отмель, и, как был в старых брезентовых башмаках, ступил в теплую июльскую воду. Зацепил кончиком

косы и осторожно вывел тяжелые, набрякшие водой штаны на гальку. Зашел опять в мелководье, поболтал ногой, потом другой, вода приятно остужала натруженные подошвы.

– Ну, спасибо, а то оставила бы мужика без справки, – смущенно смеясь и оправляя юбку, говорила между тем незнакомая ему баба. – Ить они готовы уже были да дно... уж больно тяжелые. Спасибо.

Никита хмыкнул, повел неловко плечами, ежась от этих настойчивых «спасибо», и впервые, не мельком, взглянул на нее. Баба все продолжала посмеиваться, шурились смущенно ее светлые серые глаза, смотрели на Никиту с доброй пристальностью и долго, словно глянула она, да и забыла отвести их в сторону (такая уж, как он после понял, привычка у нее была, а вернее сказать, особенность). И он тоже засмотрелся, растерявшись, тревожась и поражаясь все больше их теплой, телячьей прямо мягкостью, серой их глубиной... Как-то не приходилось ему до сих пор глаза у людей замечать. Ну, цвет, выражение там – это он, само собой, видел, а вот чтобы глаза целиком... А тут смотрели они на него и, кажется, в него, будто забывшись, приветливые в прищуре глаза, прозрачные, с легкой тенью под ресницами...

Он с некоторым усилием оторвался от них, переводя взгляд по лицу, поблекшим немного губам, шее в мягких морщинах, и ниже, на справную фигуру и полные, налитые здоровой желтизной икры слегка разведенных толстопых ног. И опять взглянул ей в лицо, но, избегая глаз, сказал прикашлянув:

– Ничего... поносятся еще.

– Поносятся, – согласилась она. – Не ты – они так бы и ушли в глубынь. А река у вас хорошая, шустрая, и вода мягчей. Небось бабы на щелок берут? – Она все глядела на него, но уже вопросительно, чуть подняв брови; прядка чистых волос набегала из-под платка на лоб, касалась щеки, и это ничуть не казалось, как у других баб, неопытным.

– Да я как-то и не знаю... Должно быть, берут.

– Такую воду только на щелок и брать. Ох, что же это я, – спохватилась она и оглянулась назад, снова засмеялась. – Разлалакалась, а там остальное небось порас-плывется, лови тогда... Пошла я.

Она подняла брюки, наскоро ополоснула в воде и пошла к мостушке, на ходу сноровке выжимая их. Никита тоже заторопится наверх, на траву, и когда выбрался, то увидел, что она уже вовсю полощет бельишко, расставив полные ноги и расторопно двигая плечами; а потом над рекой, отдаваясь еле уловимыми повторами в крутях, далеко и смачно зашлепал ее валец...

Он долго помнил ее в тот день и после, хотя ничего серьезного, достойного такой памяти, не произошло.

И Никита, и Степанковы были в одной десятидворке. Он то и дело встречал ее на улице, у колодца, но все как-то мимоходом. Заметил, как она ходит: не торопливым бегом, не вперевадку, как большей частью ходят все сельские женщины, а ровно, чуть кокетливо пошевеливая плечами и ставя носки врозь... Или у них, вязовских, манера у всех такая, думал он; так вроде бы не должно. Бабы – они вечно бегут, торопятся, дел столько, что успевай. Привыкли бегом-то. А эта вот, видно, так обходится, без спешки, хоть и говорят уже, что работающая. Разные они, люди.

К концу августа началась скирдовка соломы. Степь и сухую ломкую стерню морило в последней, нещадной и резкой жаре. Подошел черед их десятидворке, и два дня Никита бок о бок с Анной и другими ставил по широко разъезженному большаку осанистые, сдобные в плечах ометы. Работалось ему, несмотря на жару и пыль, легко. Он и так не часто думал в последнее время о жене и всех своих делах, а теперь и вовсе. Поставив три-четыре омета, усаживались к

последнему в короткую тень, полудневать. Оживясь, болтали между собой о всякой всячине бабы, уминали с хлебом рдяные помидоры, яйца, малосольные огурцы, запивая все родниковой водой из бочонка, только что доставленного водовозом.

В первый же день они устроили Анне «спрос». Она отвечала охотно, понимая, что так надо, поворачиваясь лицом и доброжелательно и долго глядя в лицо каждой. Рассказала даже, как у нее на реке мужнины штаны чуть не уплыли и как их Никита вот вытащил, и тут же спросила, из реки ли берут воду на щелок или еще откуда. Ее заверили, что только из реки, вся улица туда ходит, и рассказали, как у Маньки Болдырихи надысь («надысь» – это было еще началом лета) шерстяное одеяло уплыло: так мальчишки с час, наверное, ныряли за ним, аж посинели все, и Манька им с полкило шоколадных купила и раздала. Анна бабам понравилась, а Никите, что греха таить, еще больше. Несколько раз пособлял он ей закидывать наверх тяжелые навильни или растаскивать кучи соломы, свернутые тракторной волокушей в огромные жгуты и клубки. Солнце растелешило всех, Никита ворочал в майке, у Анны в подмышках и у груди расплылись на кофточке круговины пота, волосы поблекли от пыли и запекся на щеках болезненно красный загар, и платок не помогал.

На втором дне наведаль их на своем комбайне Николай, он переезжал на другое поле, на обмолот валков. Она ему что-то сердито, полушепотом выговаривала, поглаживая нагрудный кармашек его ковбойки, и потом переложив несколько спелых помидоров и термос в его сумку. Николай подошел, произнес общее «Здравствуйте, Бог в помощь»; прищурившись и сдвинув фуражку на затылок, посмотрел на обчатый омет и сказал: «Тоже, значит, этим самым паром, так? А ведь на машинном, едрена корень, ненавешенный стогометатель валяется, с неделю как привезли... Ну, руки ваши, вам виднее...»

С той поры Никита отработал на скирдовке еще две очереди, все время с Анной – муж ее пропадал с бригадной колонной у соседей, помогал им с уборкой. Раза два она сама заговаривала с ним, даже шутила, памятуя одно из первых знакомств своих здесь. Никита, довольный, втайне радуясь, старался отвечать ей складно, с умом; и, видно, это получалось у него потому, что Анна заметно стала отличать его от всех, зауважала, тем более что и остальные всегда считались с его словом.

Но дальше, знал он, дело не пойдет, да и никак не могло пойти. Такого он как-то даже и представить себе не мог; и если думал, так только о том, какая она во всем хорошая вышла и как, должно быть, с такой заботницей ладно жить: опрятная, все-то у нее к месту – что слово, что дело. Он сам видел, как она с попутной машиной сдавала мужу и снедь всякую, и белье, и – невиданное дело – чистую спецовку для смены, когда у них любой тракторист или комбайнер привык ходить в одной и той же чуть не весь сезон...

Еще он, долго и прямо-таки неотвязно, думал, как ее называет муж: Аннушкой, Анютой ли, Нюрой? После оказалось – Нюрой... Зря он так, думал Никита, мог бы и получше – Нютой, например. Он бы так ее и назвал – Нютой, и никак иначе.

Летело время; уже вон его сколько пролетело, а вот теперь Райка Бордовых заприметила за ним грешок его, и надо было решать. Что тут можно было делать, кроме как взять и выбросить все это из головы?... Как говорят – забыть? Каждый Божий день он видит, как идет она под ведрами от колодца, воды не плеснет... Пока будешь забывать, она десять раз перед тобой пройдет: да и кто, какой дурак выдумал – так забывать?!

Сам же и выдумал, кто же еще, говорил он себе раздражаясь, быстро уставая от таких мыслей. Все без толку, все ни к чему. Зря ты налачился обо всем этом думать, душу себе мутить. У девок твоих вон уже и косы вином пахнут, сватам квасок стоит, дожидается. Уже и дело свое на земле кончаешь, поизносился за жизнь, жена в болезнях... куда налачился? Тебе теперь – смотри издалека, поглядывай, да не забывай, кто ты и какой есть.

А с Ефросиньей... что ж, не в меду жила, чтоб очень уж хорошей быть. Чай, тоже и руки, и нервы поотмотаны; и на семью тянулась порой изо всех сил, потратилась здоровьишком, и на скотину... Господи, думал он, ведь мы тут не столько на себя, сколько на скотину работаем. Сколько ей и сена, и уходов, сколько трудов ей надо отдать!.. Себя, бывало, с Ефросиньей забывали, в лесничестве на покосах без еды-воды сутками пропадали, сухой кусок ели, лишь бы корову хоть под отел сенцом правдать... А поросята, овцы, а гуси-утки эти – и все на жене да на жене... Забегается, завертится, а дом стоит, ожидает, без хозяйки там ничего не делается. И никогда он не забудет, как дом этот ставили: сначала горбили, зарабатывали, потом над каждой копейкой дрожали, себе и детям во всем отказывали – лишь бы из саманухи выбраться, зимой не мерзнуть... Как затем строить взялись, все лето в амбаре жили, бедовали. Плотникам что – стены поставили, деньги получили да ушли, сам он тоже с утра пораньше на работу, чтоб копейку в дом принести; а жена тем временем самую трудную работу делала, дом обживала: мазала, подпол с чердаком засыпала, красила, белила... Да и во всем так; молчит и работает, и он сам знать не знал, как картошку, огород полоть да поливать, в дому прибирать – на все готовое приходил...

Он, вспоминая всю эту женину работу, будто только теперь понял, увидел все, что приходилось делать жене его, Ефросинье, хотя и до этого с пониманием ко всему относился. Он еще только на обед придет, а она уже, глядишь, наломалась с утра, ей уже не до шуток либо там нежностей – лишь бы накормить мужа да бежать поскорее кизяк складывать, кошенину за огородом сгребать, полоть... Ей, может, и хотелось бы отдохнуть, в тенечке посидеть да словцом-другим обмолвиться, а беги... А припомни, вспомни получше, что люди говорят: мало дворов и огородов чище, чем у них. Что ни возьми – огурцы, помидоры ли, лук с редиской – все у них, первых, бывало, все ко времени. У других, глядишь, детвора еще только к «опупышкам» примеривается, а у них уже малосольных с хрустом вволю, уже и окрошка. Да что там говорить; бабы со всей улицы за дрожжами к ней ходят, за закваской – это ль не хозяйка?!

Наломалась ты за жизнь, Федоровна, и ништо, гляжу, тебе сейчас не мило. Я еще, бывает, и кусточку удивлюсь какому, на реке посидеть люблю, в степи там побыть – есть еще интерес; а тебе все не до этого, все какая-нибудь забота гложет; не то, чтобы на облачко какое внимание оборотить – поспать спокойно не дает... Ну, прикипел я к Нюте – что тут скажешь?.. Увижу ее – так, веришь ли, сердечко свое начинаю чувствовать, как юно бьется там... А подумаю, что вдруг они с какой-нито дури вздумают уехать отсюда, так совсем... Я уж, Фрось, все передумал, все испробовал; сам знаю, что негоже мне так привыкать к ней, к думкам своим; и что ты мне не на год – на всю жизнь дана, и про дочек своих – все помню! – только забыть не могу, ничего с собой не сделаю. Стыд тут пусть, он при мне и останется; а другое – жалость... Жалко мне, что так у нас вышло, что сама ты с рани от меня откачнулась. Думала, поди, лучше будет, все радости – то одной; а жизнь возьми да и поверни по-своему, впоняток... Мною побрезговала, с дочерьми свой век прожить решила... так мы их не для себя – для других растили, не удержишь. Вот и осталась одна: и голову приклонить некуда, и со мною – поздно. Это ведь молодым еще так дозволено: ныне расплевались, да по углам, а на завтра снова вместе; а нам – нет, не сумеем мы так, жизнь уже за плечами.

Да, жалко... Я ведь тоже свою вину никуда не дену, при мне она всегда, но мне куда легче. Дочки меня приняли, они теперь хоть за тыщу верст уедут, а знаю, что помнить будут, не только о тебе по вечерам говорить. Теперь вот Нюта есть, и мне, считай, больше и не ничего – хватит... Может, ты и сама не знаешь, как тебе плохо – одной – то за занавеской вздохнуть, думать, одной в постройках тянуть: а я вот чувствую и знаю это, и жалко мне тебя донельзя – не с того конца ты за жизнь взялась. Так тебя, понимаешь, жалко, что и слов нету...

Он остановился в саду своем, поглядел в неподвижное сплетение веток в голубом небе, на красноватые, теплых оттенков стволы; увязая в снегу, прошел к яблоням. Еще и снег здесь был нетронут, даже без оттепельной корочки, еще и самых ранних примет весны не было видно из

деревцах, а уже не по-зимнему суха и тепла стала их кора, уже привольней, не сиротски были раскинуты в свежем мягком воздухе ветви – теплынь... Не было утренней тоски по ненаверстанному, ушедшему, той волнительной тревоги, что подымает со дна человека весна и любое ожидание перемен, которые в жизни хоть и бывают, но редко. Все было ясно до дна, все отстоялось, сбылось и не требовало ни повторений, ни перемен.

Он поглядел на сад этот, уже вошедший в зрелость и дающий плоды, на себя глянул – будто со стороны, с усмешкой, и потом на солнышко, определяясь во времени; и пошел домой. Напоил скотину, натрусил ей с лапаса сенца пополам с соломой – до первой травы еще ждать да ждать. Потом решил дать и поросенку, хотя тот прибаливал и жена отпаивала его сама. Вошел в пустые, светлые и жаркие от прямых солнечных лучей комнаты, прислушался. Размеренно, сонно ходил маятник часов, дышала за занавеской жена. Сняв чесанки, он прошел в переднюю; глянул в зеркало, потер щетину на подбородке и скулах, увидел на столе открытку: девочки поздравляли, хоть и с опозданием, мать с Международным женским днем, и еще обоих – с весною. Надо сказать ей, чтоб зря не подымалась, не тащилась к поросенку. Никита зашел в чулан.

– Ефросинь... а, Фрось, – он качнул ее за мягкое плечо. В чулане было темновато, тепло и сухо, от плиты пахло просыхающими валенками.

– А... а?! Что?... – заполошно, со сна, забеспокоилась она, пытаясь подняться.

– Да ты лежи, Фрось, – сказал он. – Я так. Говорю, что прибрал на дворе и поросенку тоже дал. Ты лежи.